**Н. А. Кашурников**

# ОБ АРХЕТИПЕ ЦАРЕВИЧА В РОМАНЕ «БЕСЫ»

В известной статье Е. М. Мелетинского «Трансформации архетипов в русской классической литературе: (Космос и Хаос, герой и антигерой)» образ Ставрогина, центрального персонажа романа Достоевского «Бесы», возводится к архетипу героя.[1] При этом всякий литературный архетип определяется автором как единица, *на уровне сюжета* совмещающая в себе как психологический, так и социальный срезы человеческого бытия. Однако я позволил бы себе не согласиться с точкой зрения Е. М. Мелетинского. На мой взгляд, образ Ставрогина восходит все-таки к иному архетипу. И, как я постараюсь показать ниже, данный архетип является моделью не столько социально-психологического, сколько скорее *метафизического* бытия Николая Всеволодовича.

Начну с того, что Ставрогин ощущает себя несущим определенное духовное *бремя*. Более того, несение этого бремени ощущается им как нечто заданное ему свыше, как его собственная судьба, как его собственный крест. Так, Ставрогин спрашивает Кириллова: «Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит, и напрашиваться на бремена, которых никто не может снести?» (10; 227). Кириллов отвечает: «...вы сами ищете бремени» (Там же).

В этой связи нужно отметить, что окружающие, признающие за Ставрогиным право брать на себя и нести бремя, которого «никто не может снести», определяют его то как «принца Гарри», то как «Ивана-Царевича», то как «князя» («Князем» называет его и Достоевский в черновиках к роману). Дворянское происхождение героя не играет здесь, очевидно, особой роли; другие дворяне в «Бесах» не удостаиваются подобных определений, поскольку не обладают аристократизмом духа и поразительной внутренней силой Ставрогина, благодаря которым тот и воспринимается окружающими, что называется, как «власть имеющий». (Не случайно Достоевский замечает в черновиках к роману, что Николай Всеволодович «спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий» — 11; 175). При этом определения, адресованные несущему бремя власти над людьми Ставрогину, — «принц», «царевич», «князь» — важны в том числе и тем, что позволяют реконструировать архетип, к которому символически восходят в сознании окружающих поведение и образ жизни героя.

И архетип этот с определенной долей уверенности можно охарактеризовать как архетип *царевича (принца)*, а бремя Ставрогина соответст-

---

[1] *Мелетинский Е. М.* Трансформации архетипов в русской классической литературе: (Космос и Хаос, герой и антигерой) // Литературные архетипы и универсалии. М., 2001. С. 185-189.

© Н. А. Кашурников, 2009

венно как бремя царевича. Собственно, говоря упрощенно, царевич — это человек, избранный *царствовать* умами и душами людей, но еще не готовый к этому. Умение же царствовать архетипически определяется прежде всего способностью упорядочивать общество, то есть способностью некоторым образом (изначально даже магически) взаимодействовать с высокими космическими силами, преодолевая с их помощью враждебные социуму силы хаоса.[2] Царь, символически выступая в качестве некоей точки соприкосновения общества с сакральными силами, как бы оправдывает существование данного социума по отношению к вселенскому формообразующему началу. В идеале он служит объединению общества во имя этого высшего оправдания его существования.

И, по мнению окружающих, воспринимающих Ставрогина как царевича, потенциально его предназначение — не столько даже непосредственное объединение людей во имя чего-либо (гораздо лучше с этим справляется, например, Петр Верховенский), сколько некое санкционирование, так сказать, *увенчание* определенных связей между людьми. На убежденности в способности Николая Всеволодовича как бы увенчать собою хаотические, преступные связи между людьми и тем самым оправдать идею всеобщей смуты, в частности построен «план» Петра Верховенского. Тот говорит Ставрогину: «...начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? — Кого? — Ивана-Царевича...» (10; 325). И добавляет: «...вы красавец, гордый, как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, „скрывающийся". <...> Вы их победите, взглянете и победите. <...> Нет на земле иного, как вы!» (10; 326).

Необходимо отметить, что, как и царь, архетипически царевич находится словно бы на опасном стыке между социальным и космическим началами. Но если царь символически поддерживается выдвинувшим его на эту тонкую грань обществом, которому он служит, то царевич этого лишен. Он с космическим началом один на один. Отсюда неустойчивость положения царевича. С одной стороны, он уязвим для страстей и нравственных болезней, характерных для данного общества (в России, по Достоевскому, это прежде всего атеизм и отсутствие «различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества» — 10; 201). С другой стороны, на царевиче бремя, так сказать, увенчания данного общества (которое, по Достоевскому, может осуществить лишь человек, провозгласивший идею русского народа-богоносца, поскольку именно в народе, сохранившем подлинный образ Христа, и заключено высшее оправдание существования России). Как можно заметить, эти свойственные архетипическому образу царевича черты в высшей степени присущи Ставрогину — по определению писателя, «русскому и типическому лицу» «известного слоя общества» ($29_1$; 141-142).

[2] Подробнее о роли царя в жизни архаического социума см.: *Брагинская Н.В.* Царь // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 614-616.

При этом нужно указать, что из-за невероятной тяжести соответствия тому высокому бремени, которое царевич, в отличие от царя, несет в одиночестве, общество, в целом, позволяет царевичу быть *гордым*. Не случайно гордость прощают Ставрогину почти все, кто признает за ним право на несение бремени, которого «никто не может снести». А юродивая Марья Лебядкина (в известной мере выступающая в качестве выразительницы народной этической правды) и вовсе говорит о своем «князе»: «Мой-то и Богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет...» (10; 219).

Это «позволение» царевичу быть гордым обусловлено, на мой взгляд, интуитивным пониманием того, что обратной стороной гордости является *сомнение*. Собственно, думается, любое подлинное сомнение, как и подлинная гордость — это *одиночество*; только гордость обращена, так сказать, вовне (как бы защищая человека от внешнего мира), а сомнение — внутрь (наоборот, ослабляя человека). «Чистое» же сомнение есть замирание, остановка на пути под тяжестью *бремени*. Для того чтобы такое сомнение вылилось в *выбор*, нужно какое-то вызванное тяжестью бремени *внутреннее колебание*, какой-то внутренний толчок. У царевича этим толчком не может стать прямая, как в случае царя, духовная связь с обществом — именно наличие такой связи в идеале должно разрешать любое настоящее сомнение царя. Поэтому внутренним колебанием и толчком у царевича становится момент *преувеличения* собственной силы, собственной значимости — момент *гордого* вознесения своего «я» на некий воображаемый или действительный, но всегда *одинокий* пьедестал. Таким образом, царевичу символически не дает оторваться от социума, как ни странно, момент его внутреннего *колебания под тяжестью бремени*. Собственно, колебание под тяжестью бремени — это некая условная точка, в которой царевич равен самому себе, в которой бытие царевича обретает для общества высший смысл. По сути, в этой точке и начинается переход царевича в *царское состояние*.[3]

Однако Ставрогин, гордясь великой способностью переносить бремя, в своем самопроявлении миг колебания под его тяжестью бремени просто «пропускает», не ощущает его — потому гордость его никак сомнением не сдерживается. С каждым новым «пропуском» в своем сознании момента колебания он лишается символической связи с обществом и Богом, безвозвратно уходя, гонимый тяжестью бремени, по дороге гордыни к абсолютному одиночеству. В конечном счете момент сомнения оказывается для Ставрогина губительным, поскольку оборачивается не колебанием под

[3] Общественное мышление на уровне архетипа — это прежде всего мифологическое мышление. В мифе же реальное и идеальное, материальное и духовное принципиально неразличимы. Об этом пишут, в частности, Л. Леви-Брюль (см.: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1930; *Он же.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937 и др.), Э. Кассирер (см.: *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. Berlin, 1925. Bd. 2. Das mythische Denken), Е. М. Мелетинский (см.: *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976) и др. Поэтому для мифического сознания колебание царевича под тяжестью бремени есть, как не кажется это удивительным, одновременно и духовное, и физическое колебание.

тяжестью взятого на себя бремени, а сомнением в самой необходимости несения этого бремени. Достоевский отмечает в черновиках к роману: «...чтобы быть русским, Князь задался слишком высокими требованиями и сам им не верил и, не стерпев сомнения, повесился» (11; 154). Таким образом, великая сила Ставрогина вне связи с Богом и Россией оказывается не в состоянии прийти в равновесие с миром. Не имея никакой точки опоры, кроме своего «я», «принц Гарри» растрачивает свою, казалось бы, беспредельную силу и в конечном счете как бы продавливается под тяжестью взятого на себя бремени. Как отмечает Н.А.Бердяев, Ставрогин — это личность, отделившаяся «от жизни в роде и родовых традициях»[4] и «потерявшая границы, от безмерного утверждения себя потерявшая»[5].

На мой взгляд, гордость — это одиночество *с позиции силы* по отношению к людям, сомнение — одиночество *с позиции слабости* по отношению к сакральным силам (Богу). По сути, гордость и сомнение, сдерживая друг друга, символически очерчивают собой некую амплитуду *одинокого* колебания царевича. Собственно, вовлеченные — в разных точках — в эту амплитуду, постоянно смещаемую, однако, у Ставрогина в сторону гордости, Шатов, Кириллов, Петр Верховенский оказываются своего рода ее жертвами. В этой связи интересно отметить параллель между Ставрогиным и шекспировским Гамлетом. Ведь история Гамлета — это, по сути, история колебания царевича под тяжестью бремени (колебания, *вызванного сомнением*), в то время как история Ставрогина есть история отказа царевича от этого колебания (отказа, *вызванного гордостью*).

При этом символическое сужение амплитуды колебания равномерным преодолением как гордости, так и сомнения является как бы инициацией царевича на пути перехода к царскому состоянию. Ведь главные черты инициации — это и есть, во-первых, временное социальное одиночество, временная изоляция от социума, во-вторых, контакт человека с иным миром (в ходе которого приобретается новая, божественного или демонического происхождения, сила) и, в-третьих, мучительные испытания, с этим приобретением и изоляцией от общества связанные.[6] И очевидно, царевич-Ставрогин, будучи не в состоянии сдерживать свою силу по отношению к людям слабостью по отношению к Богу (что собственно и является проявлением истинной — *уравновешивающей* мир — духовной силы), этой инициации не выдерживает. Он не только не приобретает новую духовную силу, но и теряет прежнюю, оседая под бременем, которого так и не смог снести. Так на уровне архетипа царевича обнаруживается *самозванство* «принца Гарри».

Самозванство его выражается в том числе и в том, что он не ищет диалога с людьми и потому управляет ими, почти всегда подчиняя их себе и подавляя внутренней силой — чаще всего с помощью идей, превосхо-

---

[4] *Бердяев Н.А.* Ставрогин // Русская мысль. 1914. № 5. С. 88.
[5] Там же. С. 84.
[6] Об инициации см.: *Левинтон Г.А.* Инициация и мифы // Мифы народов мира. Т. 1. С. 543–544.

дящих умственные и духовные силы окружающих. При этом, рождая эти идеи и внушая их другим, Ставрогин не стремится следовать ни одной из них. Так, он признается в письме к Дарье Шатовой: «Я <...> никогда не могу поверить идее в той степени, как он [Кириллов]. Я даже заняться идеей в той степени не могу» (10; 514).

Позволю себе предположить, за счет чего осуществляется столь действенное идеологическое подавление окружающих «принцем Гарри». Акцент делается не на содержательной стороне идеи (хотя она может быть и очень глубокой), а на ее блеске, мощи, смелости; идея ценится прежде всего за свою *поражающую* составляющую, *за свой образ*. В частности, Шатов и Кириллов, «примеряя» на себя различные идеологические образы, предлагаемые им Ставрогиным, как бы сливаются с ними в единое целое. Однако эти идеи не выражают их внутренней сущности, они словно не совсем «удобны» для их «я». Так, Кириллов как будто раздавлен воспринятой идеей человекобога; его сознание оглушено — отсюда его надломленная, но спокойная (как у сектантов) механистичность, автоматичность. Петр Верховенский замечает ему: «...не вы съели идею, а вас съела идея» (10; 426). Шатов же идеей духовного соответствия русскому народу-богоносцу полностью не подавлен — он находится в состоянии постоянного диалога с ней; между ними есть все-таки некоторый зазор. Шатов говорит Хроникеру: «...я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь» (10; 111). Впоследствии именно эти идеи и становятся причиной их гибели: Шатов погибает, противопоставляя идею народа-богоносца бесам-нигилистам, Кириллов — вследствие своей идеи человекобога, «благодаря» ей.

Таким образом, Ставрогин — самозваный царевич — оседая и продавливаясь в конечном счете под тяжестью бремени, которого так и не смог снести, губит тем самым не только себя, но и тех, кто поверил ему. Потому трагедия романа «Бесы» — это не только личная трагедия Ставрогина, но и трагедия поверивших в него, трагедия *обманутой веры*.[7]

[7] В статье «Феноменология юродства в романе Достоевского „Братья Карамазовы“» мной также была предпринята попытка реконструировать в творчестве Достоевского некоторые *метафизические архетипы* (юродивого, шута и скомороха) (см.: *Кашурников Н. А.* Феноменология юродства в романе «Братья Карамазовы» // А. М. Панченко и русская культура: Исследования и материалы. СПб., 2008. С. 217-226). В целом, такая реконструкция представляется весьма продуктивным направлением в изучении творчества писателя. Дело в том, что Достоевский не психолог в том смысле, который обычно вкладывается в это слово: психологический анализ для него не самоцель, а лишь *средство* в стремлении обнаружить, погрузившись в глубины человеческой психики, божественное начало в душах героев. По сути, для Достоевского психическое и метафизическое начала — явления одного порядка: говоря об архетипе в творчестве писателя, мы вправе говорить не только об архетипе психологическом, но и об архетипе метафизическом.